



Юр. КОРОЛЬКОВ

Через сороч
СМЕРТЕЙ

Но настал день, когда заключенные Тегеля не увидели рук...

Молча шагали заключенные по тюремному кругу двора, стиснув зубы и кулаки. Поднимали глаза на тюремный корпус — может, снова появятся руки? Нет, они были пусты, эти двенадцать одиночных камер.

— Увезли!.. Казнили!.. — как стон, разносилось по тюрьме...

Стало так тихо...

И вдруг в этой невыносимой тишине раздался могучий голос. Над тюремным двором торжественно и широко лилась песня:

Идет война народная...

Это пел капитан Русланов, вцепившись руками в железные переплеты оконной решетки. Он пел свободно, не обращая внимания на вахтманов, пел, как во время воздушной тревоги. Охранники бросились к его камере, но Русланов продолжал петь.

Все, кто был на тюремном дворе, подняли головы. В окне второй камеры они увидели две упрямые руки, вцепившиеся в железные решетки. Невидимый узник продолжал петь...

Когда подошла их очередь идти к врачу, оба снова перешли в самый конец.

Ахмет спросил:

— Ты знаешь капитана Русланова?

— Да, — Михаил рассказал, что недавно они всю ночь провели в одной камере.

— Послушай, — попросил Ахмет, — передай ему стихи. Очень надо их переправить на волю. Капитан обещал...

Встретились еще раз через неделю — снова в тюремной бане. Вместе одевались, и Ахмет незаметно сунул Михаилу самодельную книжку.

— Держи, десантник! — прошептал он. — Передай капитану. А нас, видно, увезут скоро... Мы хотим, чтобы на Родине знали, как мы вели себя перед смертью...

Ахмет не сказал, куда увезут. Ясно и так: в тюрьму Плетцензее. Это тоже в Берлине. Там есть гильотина, где рубят головы. Михаил поразился: как невозмутимо спокойно говорил его собеседник о смерти. Он сказал это вслух. Ахмет усмехнулся:

— Нам пора уже привыкнуть. Целый год ходим под топором. Я помню, когда-то читал у Гюго размышления арестанта, которого осудили на казнь. Он говорил: «Не все ли равно — люди все приговорены к смерти». Он-то знает, когда наступит конец, а другие — нет. В том лишь и разница...

Они простились, не глядя один на другого, чтобы не привлекать внимания вахтмана. На прощание Ахмет сказал, что во время прогулок заключенных все они, приговоренные к смерти, будут держать руки на тюремных решетках.

— Пусть это будет нашим последним сигналом, последним приветом живым и непокоренным... Увидите руки — значит, живы. Ну, а если... — Ахмет не договорил.

С того дня заключенные Тегеля постоянно следили на прогулках за окнами второго этажа. Там всегда были видны двенадцать пар рук, закованных в кандалы. Подпольщики жили,

смертников увели в тюремную баню. Значит, сейчас их можно там встретить.

Михаил поспешно вымыл полы и попросил вахмана:

— Господин вахтман, разрешите мне сходить в душ.

— Сегодня моется другой блок.

— Но я очень грязный, господин вахтман. После такой работы... — Михаил указал на швабру и ведро, которые держал в руках. — Инспектор может придаться...

Последний довод убедил вахмана.

— Ладно, иди, скажи, что я разрешил...

И вот Михаил очутился в бане. Это было длинное, похожее на коридор помещение, по обе стороны которого стояли души, отгороженные тонкими переборками. Посередине расхаживали охранники, с заключенных нигде не спускали глаз. Михаил нырнул под душ и сквозь водяной шелест услышал татарскую речь. Невидимые собеседники иногда переходили на русский язык.

— Друзья, кто вы? — спросил Михаил.

Из-за переборки высунулась мокрая голова.

— А ты кто?

— Десантник, теперь заключенный.

— Э, да мы с тобой однополчане! Когда сбросили?

Мимо прошел надсмотрщик, и разговор оборвался. Из душа вышли вместе, но говорить больше почти не пришлось. Новый знакомый назвал себя Ахметом. Он успел шепнуть Михаилу:

— Приходи завтра в амбулаторию...

В тюремную амбулаторию больше ходили затем, чтобы с кем-нибудь встретиться, узнать тюремные новости. Там можно долго стоять в очереди и разговаривать. В амбулатории всегда бывало полно народу.

Новый знакомый стоял впереди, но, узнав Михаила, перешел к нему в конец очереди. Говорили урывками. Ахмет рассказал: в тюрьме двенадцать татар. Большинство из Казани. Всех судили в Дрездене, приговорили к смерти. Никто не знает, когда выполнят приговор...

бы все падали, падали сверху. Воздушный налет продолжался уж третий час...

В противоположном окне за решеткой появилась голова, освещенная заревом пожарищ и светом подвешенных в небе ракет.

— Ого-го!! Капитан! — донесся оттуда голос. — Вот что значит посеять ветер! Как себя чувствуешь, капитан?

— Хорошо! Стихи как? Пишутся?

— Теперь только читаются, — ответил Муса. — У меня отобрали бумагу, приходится диктовать товарищам...

Так перебрасывались они словами — Джалиль и Русланов. Потом Муса, прильнув к тюремной решетке, начал громко читать стихи. Он почти кричал, и казалось, что Джалиль, как птиц, выпускает стихи на волю. А его друзья — Алишев, Симаев, Булатов — те, кто мог слышать слова поэта, записывали, запоминали их строку за строкой...

Бомбежка все продолжалась, а узники, запертые в камере капитана Русланова, все слушали стихи Джалиля. Они не понимали слов — Муса читал по-татарски, но разве это имело значение?! Их волновал подвиг, поэтический подвиг, свидетелями которого они были.

Но вот Муса разжал уставшие руки, его голова исчезла за окном. Русланов заметался по камере.

— Вот это люди! Вот это кремни! Из каждого хоть высекай огонь!..

Но Русланов тоже был из таких. В нем кипела, искрилась горячая кровь. Потому и полюбился Мусе этот капитан с неукротимым характером.

Русланов предложил — хорошо бы встретиться с кем-то из них, из подпольщиков. Подсказал: можно встретиться в душевой или в тюремной амбулатории.

Вскоре десантник Михаил смог воспользоваться советом Русланова. Михаил находился под следствием, а подсудимых заключенных посылали иногда на уборку тюрьмы. Так Михаил очутился на втором этаже. Двери камер были распахнуты —

статный, с густой копной черных волос, с такими же черными горящими глазами, он держал себя независимо и вызывающе. Даже тюремщики не выдерживали его жгучих глаз. Они называли его «Шварце Ауге» — черные глаза. Капитан Русланов носил военную форму, погоны, а на его груди были советские ордена. Шеф гестапо Мюллер распорядился сохранить ему форму и ордена.

На прогулку Русланова выводили одного, и он расхаживал по тюремному двору в высокой папахе, независимо вскинув голову и не обращая никакого внимания на сопровождавшего его охранника. Во время воздушных тревог Русланов подтягивался на руках к окну камеры и начинал разговаривать с соседями или запевал песни. У него был сильный голос. Особенно любил он песню «Священная война». Казалось, что могучую торжественную мелодию песни не может заглушить даже грохот недалеких разрывов.

Однажды во время тревоги вахтман второпях распахнул дверь второй камеры и загнал туда нескольких заключенных. В одиночке Русланова оказались Альберт Маршалковский из Одессы, партизан Николай с Украины, десантник Михаил и двое немцев-антифашистов. У одного из них на щеке был шрам, и, когда узник говорил, казалось, что он улыбается.

«Хозяин» камеры восторженно встретил неожиданных гостей. О себе говорил мало. Сказал только, что до войны был чекистом, служил в Белоруссии, партизанил — командовал бригадой, попал раненым в плен в Брянских лесах.

Капитан еще рассказал, что как раз напротив его камеры на втором этаже сидит группа татар во главе с поэтом Мусой Джалилем. Они иногда переговариваются с ним. Словно бы подтверждая свои слова, Русланов подошел к окну, подтянулся на сильных руках и крикнул:

— Эй, Муса! Как тебе нравится эта иллюминация?!

Была ночь. Стены тюрьмы сотрясали взрывы тяжелых бомб, в небе висели ракеты, бледно озарявшие город, жарко полыхали пожары за озером, а бом-

шеток. И судьбы людей, томившихся в этих камерах-одиночках, тоже словно были перечеркнуты неумолимой рукой фашизма, — в судебном приговоре многих узников Тегеля стояло слово «тотштрафе» — смертная казнь. Она могла произойти сегодня, завтра, через час и через неделю. Изю дня в день узники просыпались с мыслью, что, может быть, сегодня их последнее утро.

Камеры смертников отличались тем, что на их дверях висели бумажки с именем и фамилией заключенного. В тюрьме их называли «визитными карточками на тот свет». Бумажки были обведены красными чернилами, а сверху стояли кресты тоже красного цвета. Это чтобы знали вахтманы. В тюрьме для смертников существовал особый режим.

В сорок четвертом году Берлин все чаще подвергался массированным налетам. Днем обычно бомбили американцы, ночью их сменяли английские летчики. Во время налетов тюремщики прятались в подвалы, но иногда во время особенно сильных бомбардировок заключенных тоже переводили вниз. Это касалось узников двух верхних этажей. Их торопливо заталкивали без разбору в камеры первого и второго этажей. В одиночки загоняли по несколько человек. Тюремщики-ключники спешили рассовать заключенных, чтобы самим побыстрее спуститься в бункер. Во время воздушных тревог до самого отбоя узники Тегеля были предоставлены самим себе.

Только в камеры смертников никого не пускали. За этим следили строго. Но смертники тоже в часы тревоги чувствовали себя свободней — они могли переговариваться с соседями через тюремные окна. Никто не мешал им.

На первом этаже, в камере № 2, сидел советский капитан Русланов. В тюрьме он был на особом счету. На двери его камеры не было красных крестов. Но Русланова содержали, как смертника. Говорили, что сам Мюллер — начальник имперского управления гестапо — приказал начальнику тюрьмы изолировать советского капитана от всех других заключенных. Но в Тегеле все знали капитана Русланова. Высокий и

В день суда нас вывели из камер,
Выстроили на пустом плацу.
Солнце затянулось облаками:
Солнцу суд позорный не к лицу.

Видно, не росой трава умылась,
А слезами горькими земли.
Лес и взгорья, впавшие в немилость,
Спрятались, в густой туман ушли.

Холодно. Одни босые ноги
Чувствуют сырой земли тепло.
Мать-земля за сыновей в тревоге,
Греет нас и дышит тяжело.

Не горюй, земля, не задрожим мы
До тех пор, пока ты носишь нас.
Именем страны, которой живы,
Поклянемся мы и в смертный час...

Потом, после суда, была тюрьма Тегель, где осужденные ждали утверждения смертного приговора, была тюрьма Шпандау, говорили даже, что кто-то видел осужденных подпольщиков в лагере Бухенвальд...

Берлинская тюрьма Тегель, обнесенная высокой кирпичной стеной, стоит на берегу озера. И свое название получила она по имени этого озера — Тегельзее. Внутри тюрьмы высятся четырехэтажные корпуса, в них камеры, множество камер с маленькими оконцами, перечерченными штрихами железных ре-

дена, к которому обратились по этому поводу, сообщил из Германской Демократической Республики:

«Акты по делам борцов антифашистского движения Сопротивления хранились в здании бывшего верховного суда в Дрездене, на Пильнитцерштрассе. В ночь с 12 на 13 января 1945 года во время варварской бомбардировки города американской авиацией здание сгорело дотла. Все хранившиеся там материалы были уничтожены.

В здании суда на Мюнхенер-плац в Дрездене все судебные акты по политическим делам перед приходом Красной Армии были свалены нацистами во дворе, облиты бензином и сожжены.

В частично сгоревшем здании бывшей предварительной тюрьмы в Дрездене также никаких материалов нацистского времени не сохранилось».

О поведении Джалиля и его товарищей в Дрездене говорит его стихотворение «В день суда».

трогательное, грустное в этом шелесте пергаментных страниц.

— Шелестят, как осенние листья, — сказал Муса. Он стал серьезен и грустен. — Есть у меня к тебе просьба, Андре. Большая просьба. Сможешь ты ее выполнить?

— Конечно, Муса!

— Развязка близится... Пройдет еще неделя, может быть, месяц... Меня волнует не то, что придется уйти из жизни, положить голову на плаху... Нет, нет! Я хочу, чтобы там, в моей стране, люди знали, как вели мы себя в плену... Кто же сможет лучше рассказать об этом после нас? Вот этот блокнот, эти стихи, написанные кровью сердца. Сейчас для меня они дороже жизни. В них наше бессмертие — умрут они, бесследно исчезнут — исчезнем и мы. Я прошу тебя, Андре, останешься жив — переправь их в Москву. Ты понимаешь меня? В Москву. Отправь из любой страны, где бы ты ни оказался после войны, — там всюду есть советские консульства. Зайди туда и отдай...

— Да, я понял тебя, Муса... Понял. Я обещаю тебе. Клянусь честью: выполню твою просьбу. Конечно, если останусь жив...

Они обнялись. Голос Андре срывался от волнения и безысходной тоски, к горлу подступал комок, на глазах блестели слезы, а Муса был спокоен. Тиммерманс взял блокнот и положил его в молитвенник, который ему подарил священник.

Через несколько дней Джалиля увели. В тюрьму Моабит он не возвратился. Подпольщиков татарского легиона судили в Дрездене.

.
. *

* Здесь снова автор вынужден поставить ряд точек. Мы почти ничего не знаем о суде, который состоялся в марте 1944 года. Известно только, что подпольщиков из группы Джалиля судил фашистский верховный суд, на котором с обличительной, страстной речью выступил Муса Джалиль. Попытки обнаружить судебное дело подпольщиков не увенчались успехом. Прокурор Дрез-

— Открой, мне нужно что-то сказать, — настаивал Муса.

Вахтман распахнул дверь камеры.

— Гляди! — Муса указал вахтману на окно, через которое виднелись яркие отсветы пожарища. — Почему нарушаете светомаскировку?! Кайнорднунг!.. *

Вахтман послал к черту заключенного, пригрозил ему карцером. Ему совсем не до шуток было в эту новогоднюю ночь. А Муса и его друзья весело потешались над растерянным видом вахтмана. Джалиля и в тюрьме не покидало чувство юмора.

Прошло еще немало недель. Прошел январь, февраль сорок четвертого года... Наступила весна. В тюрьме она угадывалась по глубокой синеве неба, видимой сквозь решетку в узком проеме окна. Подпольщики все ждали суда.

Незадолго до суда Мусу вызвали к начальнику тюрьмы и дали ему подписать какую-то бумагу. Переводчик сказал — теперь он извещен о предстоящем процессе. Фашисты продолжали играть в правосудие.

В камере Джалиль ответил на тревожные распросы Андре:

— Скоро нас повезут судить в Дрезден. Я знаю, что вернусь оттуда с собственной головой под мышкой...

— Зачем так мрачно шутить! — воскликнул Андре.

— А что остается делать? Они хотят поставить нас на колени, хотят, чтобы мы просили пощады... Нет, этого не будет! Никогда не будет! Знаешь, Андре, какие я написал стихи?

Муса прочитал, а потом перевел:

Нет, врешь, палач, не встану на колени!
Хоть брось в застенок, хоть продай в рабы!
Умру я стоя, не прося прощенья,
Хоть голову мне топором руби!

Джалиль начал перелистывать странички блокнота. В нем накопилось немало стихов. Было что-то

* Кайнорднунг — беспорядок.

Да снимет с наших рук оковы!
Да вытрет слезы с наших глаз!
Согрев целебными лучами,
Тюремный кашель унесет!
И в час победы пусть с друзьями
Соединит нас Новый год!

Андре растроганно благодарил Мусу за подарок.

— Но я хочу, чтобы ты написал мне эти стихи, — сказал он.

— На чем? Разве только на обрывках фашистской газеты.

— Нет, ты напиши мне на молитвеннике, который подарил священник. Там есть несколько чистых страничек.

— Но он не обидится, святой отец?.. Ведь он считает меня представителем ислама.

— Нет, нет! Он сказал мне — перед величием духа равны все религии.

На двух первых чистых страничках молитвенника Муса написал Тиммермансу свои новогодние пожелания, написал тонкими арабскими буквами.

Было за полночь, когда Муса кончил писать и протянул молитвенник Тиммермансу. Где-то за тюремными стенами послышалось завывание sireны — воздушная тревога. Заключенных тюрьмы во время налетов оставляли в камерах. В бункер спускались только вахтманы да тюремная администрация. В ту ночь бомбили район Лертерштрассе, бомбы падали где-то близко, и вскоре в стороне Антгальского вокзала запылали пожары. В тюрьме выключили свет, и теперь багровые отсветы плясали на стенах камеры.

— Что я придумал, друзья! — воскликнул Джалиль и подошел к двери. — Сейчас я доставлю вам одно новогоднее развлечение...

Он что есть силы принялся барабанить кулаками в железную дверь. Удары гулко разнеслись по коридорам тюрьмы.

— Что ты стучишь? Что случилось? — один из немногих вахтманов, оставленный для надзора, поднял волчок, — Чего ты стучишь? — повторил он.

манс, — в таком случае я не могу принять подарка. — Он положил на стол пакетик из целлофана.

Священник в замешательстве посмотрел на Джа-лилю. Подумал и согласился с Андре:

— Ты прав, сын мой, здесь все мы равны перед богом...

Третий пакетик вечером принес Котцур. Сладости решили оставить для встречи Нового года. Пусть хоть чем-нибудь будет отмечен последний вечер уходящего года.

За стол сели втроем — француз, поляк и татарин. Ели тюремную похлебку, которая успела остыть, — ее тоже приберегли для новогоднего ужина. Потом перешли к сладостям, запивали их мутноватой жижей, называемой кофе.

— А знаешь, Андре, — сказал Джалиль, — я приготовил тебе новогодний подарок. И тебе, Иоганн, тоже...

Муса достал из-под подушки блокнотик в серой обложке, открыл его на последней странице и прочитал:

— «Новогодние пожелания». Эти стихи я посвятил тебе, Андре, мой тюремный друг и товарищ. Иоганн, помоги мне перевести их.

Муса стоял над столом с остатками скудного ужина и читал сначала по-татарски:

Здесь нет вина. Так пусть напитком
Нам служит наших слез вино!
Нальем! У нас его с избытком,
Сердца насквозь прожжет оно.
Быть может, с горечью и солью
И боль сердечных ран пройдет...
Нальем! Так пусть же с этой болью
Уходит сорок третий год...

— А теперь, Иоганн, — Муса положил руку на плечо Котцура, — я переведу это тебе на польско-немецкий.

Переводили долго, старательно, обсуждая каждое слово. Котцур передал смысл стихов Тиммермансу. Потом Муса снова читал по-татарски:

Да принесет грядущий Новый
Свободу сладкую для нас!

— Да, слышу, слышу... Спасибо тебе, Фуад! Об этом надо рассказать всем нашим.

Муса и Абдулла могли бы без конца говорить, но Андре Тиммерманс давно уже толкал Джалиля — ему тоже хочется поговорить с приятелем.

С тех пор каждую ночь в условленное время узники переговаривались друг с другом. На день отверстие затыкали хлебным мякишем, присыпанным сверху пылью от штукатурки.

Первый успех окрылил Мусу и Андре. Они принялись долбить вторую стену, чтобы можно было разговаривать с Алишем и другим бельгийцем — товарищем Тиммерманса. На этой стене висела батарея парового отопления, позади нее и принялись долбить новую щель. Долбить здесь оказалось гораздо труднее — мешала труба, да, кроме того, они не могли нащупать пространство между кирпичами. Мучились долго, набили кровавые мозоли, но так и не удалось продолбить стену. После неудачных попыток пришлось отказаться от этой затеи.

Был на исходе 1943 год. В канун рождества в камеру к Тиммермансу пришел священник. Он тоже был заключенный, но ему разрешали исполнять в тюрьме католические обряды. Священник принес для Андре подарок — молитвенник в черном коленкором переплете и маленький целлофановый пакетик, в котором лежали кусочек кекса, несколько конфеток и крошечная шоколадка. Муса и Андре поднялись, когда в камеру вошел священник. Он благословил Тиммерманса и протянул ему рождественский подарок.

— А моему другу? — Андре кивнул на Мусу.

— Но он магометанин, — возразил священник, — я только католикам...

— Простите, святой отец, — прервал его Тиммер-

убиты фельдфебель Блок, ротмистр Гелле, сменивший разжалованного фон Зиккендорфа, и другие нацисты, работавшие в легионе. В дальнейшем legionеры принимали участие в боях с гитлеровцами и освободили несколько французских городов. Так бесславно кончилась фашистская затея сформировать военные части из советских военнопленных нерусской национальности для борьбы против Советского Союза.

Джалиль. Он тесно прижимался губами к стене. — Это я, Муса... Ты слышишь меня, Фуад?

— Да, да, я слышу... Здравствуй, Муса! Ты слышал новость? После нашего ареста восстал еще один батальон. Тот, что стоял под Варшавой...

Джалиль слушал слова Булатова, как прекрасную музыку. Сердце его наполнилось буйной радостью. Муса бывал там, под Варшавой, в четвертом батальоне. Там удалось тоже создать подпольную организацию. Она и руководила восстанием. Значит, арестовали не всех... Значит, живет, борется антифашистское подполье!..

А Фуад Булатов едва слышным шепотом передавал подробности. Ему сказал об этом Алишев, с которым они сошлись в тюремной бане. Половину батальона, примерно две с половиной тысячи человек, нацисты вооружили и отправили в Западную Украину для борьбы с партизанами. Легионеров заставили прочесывать леса, где засели украинские и польские партизаны. Но как только легионеры очутились в лесу, они повернули оружие против немцев.

В Берлине, в Варшаве поднялся переполох — еще больший, чем после восстания первого батальона. Из Варшавы на место происшествия — в Западную Украину — отправили моторизованную дивизию СС. Произошло кровавое сражение между легионерами и солдатами нацистской дивизии. Обе стороны несли тяжелые потери, но каратели так и не добились успеха. Легионеры соединились с партизанской бригадой.

Неудачи, постигшие нацистов, заставили их отказаться от мысли использовать легионеров для борьбы против Советского Союза.

— Ты слышишь, Муса, — шептал Булатов, — это наша победа! Мы сорвали фашистские планы! *

* После того как гитлеровцы раскрыли массовую подпольную организацию в Едлинском лагере, после восстания в четвертом батальоне германское верховное командование отправило всех легионеров во Францию — подальше от Восточного фронта. Татарский легион в составе нескольких тысяч человек очутился в Южной Франции, в районе Ле-Пю. Но в 1944 году легионеры снова восстали, и весь легион перешел на сторону французских партизан. Во время восстания были

зачем это нужно, — крышки и желобки... Но нам охотно дадут работу — начальник тюрьмы получает за это деньги.

— Хорошо, а нам какая от этого выгода? — усмехнулся Муса. — Здесь кругом все построено на выгоде — нам-то какой барыш, я спрашиваю, подкармливать тюремщиков?

— С деревянными крышками нам дадут инструменты. Ими все-таки легче колупать стену, чем ногтями.

— Правильно! — Муса с восторгом принял предложение Тиммерманса.

Через день они уже долбили стамесками желоба в крышках, а после вечернего обхода принялись долбить стену. Сначала пробивали стену, отделяющую их от Булатова. Это было удобнее — в углу стояла параша, и одна ее ножка плотно примыкала к стене. Позади деревянной стойки и принялись ковырять щель. Узникам повезло: стамеска сразу попала в щель между кирпичами, и работа шла довольно успешно. За сутки удавалось продолбить два-три сантиметра. Со стороны щель не было видно. Но стена оказалась толщиной больше полметра, с каждым днем долбить ее становилось труднее. В тишине камеры стамеска производила громкий скрежет. Делали так: дважды поворачивали стамеску в щели и замирали. Потом снова два поворота — и снова пауза. Получалось так, словно мышь осторожно точила что-то зубами.

Еще сложнее было убирать известковую пыль, мелкую каменную крошку, которую извлекали из щели. С величайшей предосторожностью пыль собирали в карманы, а на прогулках вытаскивали ее щепотками, как нюхательный табак, и рассеивали на тюремном дворе.

Недели две узники долбили щель между кирпичами. Наконец в одну из ночей Муса услышал приглушенный голос Фуада Булатова.

— Больше не долбите, — шептал он в щель, — штукатурка дает трещину. Могут заметить...

— Фуад! Фуад! — радостно и горячо зашептал

Улыбкой гордою опять сияет взгляд.
И, суету мирскую забывая,
Я вновь хочу, не ведая преград,
Писать, писать, писать не уставая.

Пускай мои минуты сочтены,
Пусть ждет меня палач и вырыта могила,
Я ко всему готов. Но мне еще нужны
Бумага белая и черные чернила!

— Не понимаешь,— с сожалением сказал Муса.— Эх, дорого бы я дал, чтобы всласть поговорить с другом! Знаешь что, Андре, давай учиться разговаривать — может, до смерти научимся. Вот смотри — бумага. А по-французски?

С тех пор каждый день часа по два узники занимались изучением языка. Каждый поочередно был то учителем, то учеником. Но они часто не понимали друг друга и придумали свой метод занятий.

Муса брал бумагу и рисовал все, что взбредет в голову. То же самое делал Андре.

Смотри, — говорил Джалиль, — это звезда. По-татарски чулпан — утренняя звезда. Дочка у меня есть Чулпан. Понимаешь?

Занятия шли медленно, но все же Андре и Муса постепенно начинали понимать друг друга.

Шли дни. Узникам удалось узнать, что в соседних камерах сидят Алиш и Булатов. С каждым из них сидели бельгийцы, которых знал Андре Тиммерманс. Бельгийцев арестовали по тому же поводу, что и Андре,—оба принадлежали к бельгийскому движению Сопротивления. Муса услышал как-то в окне голос Алиша, окликнул его, но поговорить не удалось.

— Послушай,— предложил как-то Тиммерманс,— давай просверлим дыру в стене. Тогда мы могли бы разговаривать хоть целую ночь.

— Но как это сделать? — задумался Муса. — Ногтями кирпичи не проскоблишь...

— Я придумал, — зашептал Тиммерманс. — Заключенным разрешают брать какую-то работу. Я видел — на тюремный двор привезли деревянные крышки. В них нужно прорезать канавки. Я не знаю,



быть никакой «крамолы», и ее разрешали давать заключенным. Но Мусу больше всего привлекали чистые газетные поля. Он обрезал их, делал продолговатые тетрадки и писал на них огрызком карандаша. Муса иногда что-то говорил Тиммермансу, но Андре не понимал, вскидывал брови, беспомощно разводил руками, и оба ждали возвращения Котцура.

Раз Джалиль принялся читать Тиммермансу свои новые стихи. Читал он по-татарски, и Андре, словно извиняясь, не понимая, глядел на Мусу.